**Письмо из прошлой жизни**

[***Николай Тертышный***](http://proza.ru/avtor/nickolas)

      от автора.

      11июня 2008г. После скорбной вести о кончине Чингиза Айтматова бросаюсь искать в рукописях письмо, написанное когда-то ему, но так и не отправленное. Утробная застенчивость всегда непонятным образом сдерживает меня при обращении к известным людям. Боязнь получить рану от молчания адресата всегда пугает (письмо Евгению Евтушенко, кстати, пролежавшее также долго прежде, чем случай позволил отдать его лично в руки поэту при встрече в нашем городе, так и осталось без ответа…!), потому и лежат такие письма в пыли и забытьи…

       Первая попытка отправить письмо писателю.
      Уважаемый, Чингиз Торекулович!
      В конце концов, осмеливаюсь писать Вам. Хотя, честно сказать, думал пооткровенничать по-поводу Вашей «Плахи» с читателями вообще. Мне человеку рабочему и страшно далёкому от литературного дела вдруг захотелось и самому «влезть» в разговор о романе, затеянный на страницах прессы. Но, подумав изрядно, я опускаю в почтовый ящик это письмо не для редакции (чего уж «вопить в пустыню»…), а лично для Вас.
      Думаю, буду правильно понят Вами и прощён за многословие.
      С глубочайшим уважением Николай Тертышный.
      18 мая 1988г.

       Вторая попытка отправить письмо писателю.
      …Случаются в суете будней мгновения, когда тронет сердце чьё-то удачно сказанное слово, когда собственные мысли вдруг найдут отражение своё в хорошей своевременной книге, тогда дрогнет неумелая рука, накропает наспех письмо, изольёт малую толику из переполнившейся чаши души, и… отложит стыдливо написанное в стол. Но однажды заест душу новой невысказанностью и поспешит та же сомневающаяся рука отправить письмо это в далёкий путь. И затеплится оно надеждою быть прочитанным, хранимое теплом искры того удачно брошенного слова…
      20 январь 1989г.
      \*\*\*

      Н.Тертышный
      ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ…

      …Во-первых, без лишних слов, роман «Плаха» мне понравился. Понравился и всё тут! Иначе как объяснить то чувство, что заставило потом «ковыряться» в подшивках и просматривать почти всю критику на «Плаху»? И чем ещё оправдать желание «залезть» в калашный ряд критиков и самому со своими мыслями о романе? Но, сразу же оговорюсь, меня тронули не литература, не художественная сторона произведения, и, тем не менее, не стоит моё непрофессиональное суждение рассматривать упрощённым образом – хорошая книга, плохая книга. Даже самую некудышнюю книжку не стоит мерить понятиями – «балдел, не балдел». О книгах вообще нужно судить по тому, как написанное в них проникает в твои извилины, как заставляет восторгаться твою мысль, и не стоит опускаться до гнусных оценок «развлекает, не развлекает».
      Айтматов схватил за душу совсем не с намерением развлекать. Ему потребовалось полоснуть этак побольнее, в кровь, до крика, чтобы остановить и заставить сопереживать, задыхаться, пытаться искать причины и боли и крика. Хотел ли этого писатель? Риторический вопрос. Кто из пишущих не вынашивает мысли «царапнуть» читателя под ребром? Это же в писателе святое, это ли судить профессионально и непрофессионально…
      Огрехи в филологии, в этимологии и вообще во всех существующих -логиях это дело специалистов, хлеб свой отрабатывающих так или иначе. Им, ох как, важно – есть ли в русской епархии должность координатора или же автор её придумал? (А может быть он просто не так её назвал…? Запамятовал что-то и долго искал что-либо похожее, и… очень удачно остановился на координаторе! Зря в православии нет такого сана. А, может быть, он есть… в другой «епархии»?) Для специалистов это точка опоры, с которой он пытается остановить айтматовское самопостижение. А может быть не надо останавливать, не надо искать составные части этого самопостижения в романе. Социальное, морально-этическое, психологическое – вот, сколько оказывается начал у автора. Вот он хотел сказать, да не сказал, вот тут надо бы и помолчать вообще, а вот тут(!) до него уже говорено Фолкнером и даже Булгаковым… (благо Булгакова почитываем ныне!). Может быть, проще было бы поразмышлять в литературных словопрениях о возможности (или невозможности?) говорить о гражданском мужестве писателей? Ан нет! Куда проще разразиться философическими упражнениями насчёт «гнусности чуждого вероучения», да поколотить для острастки давно уже избитую (ещё великими…!) тему «религиозного дурмана»…
      А я, тут вот, как не специалист подумал: почему вообще писателю атеисту понадобилось изощряться в мистификациях, прибегать к парадоксальным иносказаниям, говорить какими-то намёками? В литературном ли приёме всё дело? Может быть, нам действительно нежелательно кое-какие истины видеть без прикрас, без таинственности, без умонепостижимости? Не секрет, что многие умники свою незаменимость только и доказывают «тайнописью», в которой де только специалисту что-либо и ведомо. Мудрить над реальностью бытия – стало вообще специальностью советских интеллектуалов. Чингиз Торекулович в этом не исключение. Но…, «я родился, когда силы сомнения взяли верх, порождая в свою очередь новые сомнения…» – вот верно подмеченная черта нашего времени. Но далее неверно. На самом деле время сомнений лишь обостряет и ускоряет поиск истины, и возвеличивает ищущую душу, а не «тешится» над ней. Направленность, даже вернее целенаправленность сомнений в социальном порядке – вот что поистине должно бы занимать писателя, а через него и читателя. Не иссушающие душу сомнения созерцательного богоискательства, нет! Слишком сложно не назвать действия Авдия созерцательностью. Его действия – сон, в них мало жажды действовать, более желание умозрительно постичь нужное ныне действие. (Это знакомое свойство всей ныне ищущей мысли. Я надеюсь, теоретики знают об этом…). Хотя может быть и важнейшая заслуга художественности романа именно в этих самопостижениях сомневающегося духа. Как знать? Время зачав сомнение – родит истину…
      Я не задаюсь целью анализировать действо романа. Думаю, что сам сюжет мало кого тронул. Но тут опять-таки заслуга великая автора – умение овладеть читателем не повествовательностью, не лихо закрученным действием, а более общим над всем этим состоянием озабоченности о несовершенствах человеческого общежития, чувством сопричастности к бедам людским. (То, что бед, оказывается, ещё предостаточно в нашем обществе – наконец-то не секрет!). Критиков более всего почему-то занимало обращение автора к такому «скользкому» предмету, как религия. Но, позвольте! Найдите мне хоть что-либо из того что называют «заигрыванием с боженькой». Явно, что писатель пользуется аллегорией, прибегая к религиозной терминологии в диалогах своих героев. Другой вопрос – хотел ли он этого или же это случилось, потому что говорить ныне серьёзно о богоискательстве с большим читателем вряд ли получится. Да и слишком явно перекликаются абстрактно-теистические суждения в романе с такой же абстрактностью современных постановок социально-этических проблем.
      «…в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения, ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной…» – вот айтматовские откровения, а теологический спор героев – всего лишь способ сказать сегодня об этом читателю. «…в нашем обществе, которое на весь мир провозгласило, что наша социальная система недоступна для пороков», «знаешь ли ты, отчего всё это происходит? В чём кроется причина?», «…что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком…? – это ли вопросы богоискательства? Тогда скажите, какие вопросы сегодня в обществе задаёт социально-нравственная этика? Догматических заскорузлостей в политике боится новая мысль, потому и прячется в иносказаниях (и не только у Айтматова…!). Ладно бы только мысль – её можно просто не печатать, а то ведь она… «в мир пошла»! «…ещё больше не любят богоискательства в миру…». (Вот и поплакивают о средних веках: то-то бы костров запалили…).
      Понятие бесконечности мироздания, бесконечности движения и изменения в нём ставят вопрос о бесконечности познания, о бесконечности постижений мира человеком, постижения самого себя в идеях. На этом Авдий строит мысль о свойствах развития своего Бога. Этакий своеобразный релятивизм. Что ж…, этот взгляд действительно верен вообще. Но для каждого определённого времени он сужается до рамок конкретных закономерностей, ограничивающих некий период в познании. Здесь надо отдать должное тому, что такой релятивистский взгляд даёт право всякий раз рождаться сомнению в познании. И отбирать это право у сомневающегося значит тащить его на средневековый костёр. И ещё, мне очень близким показался Городецкий с его пониманием того, как «…потом всё было извращено и приспособлено к определённым интересам определённых сил, ну да это судьба всех вселенских идей». Это сказано героем в этаком прагматичном порядке, но это действительно верный ответ на венный вопрос – почему в мире так , а не иначе. У Айтматова Городецкий – ответ на этот вопрос о существе миропорядка, а вот Авдий – сомневающийся поиск уже …нового порядка вещей.
      «Как ни велика земля, как ни радостны новые впечатления, но всё это ничего не стоит, ничего не даёт ни уму, ни сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая точка, она определяет исподволь и самочувствие человека, и его отношения к окружающим». (Припомните, Иван Карамазов отказывается от высшей гармонии, если только в её основании будет хоть единственная слеза замученного ребёнка…). Но мало того, эта « болевая точка» есть «штука» вечная и неизбывная, ибо категории зла в человеческом общежитии изменяют лишь своё количество, оставаясь неотвратным фактором качества наших отношений. Задумайтесь, менее ли страдает наш современник оттого, что его вежливо выпроводили из кабинета чиновника, чем современник Некрасова оттого, что его высекли на конюшне…? Более того, я уверен, что сегодняшнее благо и порядок наших отношений, причем, иногда завоёванных отношений не далее как завтра будут признаны большим непорядком и вопиющим злом, подлежащим скорейшему устранению…
      Здесь я попытаюсь объяснить, почему моё внимание столь привлечено было первой частью романа и, главное, этой его так называемой «богоискательской» стороной. Дело в том, что вероятнее всего читать здесь Айтматова нужно, обладая некоторым знакомством с вопросами и раннего христианства, и христианства вообще, как вероучения и как церкви. Мне кажется, в связи со специфичностью этой области познания эта сторона айтматовского произведения осталась не столько не прочитанной массовым читателем, сколько не совсем понятой до конца. Хотя у меня нет сомнения в том, что искушённого читателя именно этим роман и увлёк. Нужно обязательно вспомнить те аналогии между раннехристианскими общинами и первыми проявлениями рабочего движения, между сектантским воззрением первых христиан и работами первых теоретиков социализма (Заглянем хотя бы в работы Энгельса – «…социализм, в той мере, в какой он был тогда возможен, действительно существовал и даже достиг господства – в лице христианства»). То есть, торжество христианского вероучения для своего времени это почти то же самое, что и торжество нынешнего социализма, шагающего к своему апогею, когда большая и лучше организованная часть землян «обязательно придёт к социализму». Но, однако, есть некоторые основания думать, что так же как и христианство « не осенило» весь мир, так и современный социализм не сможет сделать человечество социально однородным; вероятнее всего в недрах социалистического мировоззрения разовьётся плод новой идеи всеобщего блага, которое будет результатом состоявшихся экономических достижений. Так это или не так, но некоторые сравнения политико-экономических факторов эпохи зарождения христианства, заката рабовладения с сегодняшней ситуацией в мире, подмеченные историками и мыслителями, дают основание усматривать в этом приличную долю истины. Если из работ по истории тех времён убрать термины – Древний Рим, церковь, христианство – то всё получится о наших временах. Историки, вероятно, ошибаются, пользуясь современными категориями в определении прошлого, но как это ни пародоксально, эта ошибка очень правильно объясняет именно современность, хотя ставилась задача объяснить прошлое. Рассматривая прошлое под углом современного познания, используя современные термины, понятия и дух настоящего историк невольно оставляет рассуждения о себе, о своём времени. Этот удивительный взгляд через прошлое на настоящее позволяет проводить очень точные параллели, хотя, повторюсь, исследователь может быть и в мыслях не держал такой задачи искать аналоги сегодняшнему дню в толще истории…
      В «Плахе» мне понравилась сама постановка таких аналогий, не касаясь всего того, что зовётся литературой и искусством слова. Как читателя меня заинтересовала и заставила шевелить извилинами именно постановка вопросов современного бытия. Чтение взбудоражило сознание, «раскололо» на части голову, но я благодарен писателю за такое беспокойство. Я сопереживал и сочувствовал с ним, он заставил по-чеховски «выдавить из себя ещё одну каплю раба…». Может быть, я зря здесь сбрасываю со счетов то близкое многим болезненное состояние тщетности собственных потуг, этакую задавленность «маленького человека», которая присутствует в героях «Плахи». Хотя, может быть, именно это проникает в сердце – не вырвешь…!
      Конечно же, оставили след конкретные примеры нечеловеческого насилия над природой, которые мы так отвлечённо-космически называем проблемами экологии. Предостережение от неразумного отношения к природе – неотъемлемое свойство айтматовского слова. Любой народ издревле чувствует своё единство с природой, и любые сложности в отношениях с нею обязательно наводят на мысль об экологическом тупике. Есть это в культуре и воззрениях всех народов – в мифах, в сказках, в эпосах. Ныне мы слагаем современный эпос. Как один из искуснейших в этом Айтматов впереди. Надо признаться в том, что говорить об экологии, о тех бедах, сотворённых природе человеком, не хватает слов, перехватывает дыхание в цепенеющей груди, душа вопиет от боли и безысходности. Здесь нужно все силы, всё негодование и тревогу положить в действие, искать спасения в отказе от главенства человека, в умеренности и воздержании. Куда честнее и правильнее будет призывать к самоограничению человека в потреблении, подчёркивая неотвратимую ограниченность возможностей и человека и природы. Мне думается, что писатель именно об этом говорит на страницах «Плахи».
      «…Ни один человек не мог отказаться от признания за собой части вины в общем несчастье, и признание это стало теперь предпосылкой духовного спасения, которое одновременно было провозглашено христианством…» – разве эта энгельсова оценка состояния древнего общества не похожа на признание того, что и мы ныне оказались поставлены развитием перед экологической катастрофой. Не потому ли Чингиз Торекулович приходит к богоискательству, что недостаточно состоятельным оказывается нынешний нравственно-идеологический порядок нашего социума. Время настоятельно ставит вопрос правильного постижения состоявшейся формации социализма, вопрос не приятия желаемого за действительное, а методичного анализа объективных свершений в мире. Разве не это тяготение можно наблюдать ныне в работах идеологов и политиков? Разве не это стремление врывается в искусство, в литературу, во все формы общественного познания?
      …Я внимательно интересуюсь, так сказать, «усреднённым» Бостоном. Так интересуюсь, как можно иногда вдруг вглядываться на себя… в зеркало. Может быть, зеркало и привирает самую малость, но всё упорнее нахожу черты в том зазеркалье, что каким-то образом роднят меня с фигурой «среднего труженика». Я не знаю, собирался ли писатель отыскать какую-то силу, способную как-то завершить цельность мира созданного в романе, или же наоборот он ищет первопричину трагедии, завязанной ещё в начале повествования. Я понимаю, что образом Бостона писатель напоминает мне, как читателю, что исход трагедии обязательно самым своим ужасным проявлением коснётся именно меня. Неразрывная цепь социальных уз потянет за собою всех…
      Наверное, немаловажное, что напрашивается быть сказанным по-поводу романа это мысль о тех очень осторожных штрихах «исконно противостоящей силы». Если очень внимательно прглядеться к Бостону (как к почти положительному герою) то портрет его, мне думается, совсем не завершён. Я не могу знать причин таковой незавершённости героя. Может быть потому, что писатель слишком рано приводит нас к развязке, не оставив времени на раскрытие характера своего героя, может быть что-то действительно оправдывает такую торопливость…? Наше время летит и не оставляет места раздумьям. А может быть, это уже моё собственное любомудрие пытается домыслить то, что писатель оставил для будущего романа? Но пусть простит он моё неосторожное посягательство на таинство писательства…
      Здесь я заглядываю в «Литературную газету» от 20.01.88г. и нахожу «Зону молчания» Владимира Соколова, в страстной строке которого вижу вдруг завершение айтматовского Бостона. Это же…Адылов из Гурумсарая! Те силы, которые питают Адылова – вот очень интересный аспект того самого вопроса «исконно противостоящей силы, …которая в каждом человеческом деле охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы». Я, конечно же, допускаю некоторую натяжку затронутой темы, но да простится сие, поскольку велика цена той истины, что открыта будет посредством разрешения этого вопроса. Да простится мне здесь излишняя витееватость – таков уж человек, пред силой поникший. Прямо и просто об этой силе он говорит лишь, когда мистицизм её ею же самой и дискредитирован. Но попытка – не пытка…
      Мне опять понадобится Отец Координатор из самого начала «Плахи». Наверное, корни моей витиеватости и причины несуществующего чина в епархии нужно искать в одном и том же месте. Может быть этот самый Координатор – это намеренная витиеватость Айтматова…? И ещё: «…соображение о престиже страны…»! Вот! Надо немедленно признать, что эти «соображения» тянутся ещё из… Древнего Рима. Разве не так же звучит: «оскорбление величия римского народа»…? Неосторожное слово, малейшее недовольство, неугодная острота, недостаток лести, равно как и излишек её – всё это считается преступлением, если руководствоваться «соображением о престиже страны» или… Церкви, как это делает Координатор.  И он сила! Та… самая…! (Далеко ли мы ушли в этом от Рима…?) а надо бы давно отыскать причину тех явлений, в которых эта самая сила, руководствуясь «соображением…», пресекает малейшее поползновение на собственную «святость» и она же плодит застой Адылова. И одного ли его…? Что это? У Айтматова короткий правильный ответ: «соблюдает собственные интересы». Вот оно! Это самоцель этой самой силы. Или наш предрассудок? А может быть то и другое вместе взятое? Нужно всегда искать правильную терминологию, когда заходит разговор об этой силе. И в разговоре тотчас возникает множество других (почти всегда ненужных!) слов, лишь потому, что в определениях этой силы всегда необходимо одно мудрёное, я бы сказал – очень мудрёное слово – государство. Уф! (Я-то знаю, как сейчас читатель оогокнул невольно, а главное насторожился – эк, куда тебя понесло шелкопёр…) Да, да – государство! Но беда в том, что словом сим в нашем могучем языке мы обозначили одинаковым звучанием два совершенно различных понятия. Удивительнейшим стечением времени и законов словообразования термин государство стало знаком равенствамеж тем, что всегда свято для сердца каждого, что пишем с заглавной буквы – Родина и тем, что во все времена презренно у народа зовётся чиновничеством. Здесь я отошлю тебя, мой славный читатель, к одному из номеров «Журналиста» за 1987 год к рубрике «Есть такое мнение» (этак осторожно…). В статье Андрея Щербакова «Мы знаем силу слов» очень правильно акцентирована необходимость убрать знак равенства между Родиной и государством. «Формальную основу этой путаницы можно отыскать в словарях: «Государство – политическая организация общества во главе с правительством…, а также страна с той же политической организацией. Страна… то же государство, Родина, Отечество, родная страна. Вот и цепочка: государство – а также страна, Родина. В такой цепочке и родная страна и родное государство – одно и то же. Но только в такой цепочке». Я позволю себе ограничиться приведённым текстом и напомнить о том, что об этой щекотливой теме намёками да загадками первыми заговорили люди, как говорится, не принадлежащие к специалистам в этой области, и наоборот те, кто профессионально должен был бы заниматься вопросами теории государства, либо помалкивают либо несут несусветную околесицу. Молчат, наверно, потому, что мистицизм гигантского чиновничьего аппарата закупорил все ходы-выходы теоретических изысканий. Казалось бы, чего проще – перепечатывай марксову теорию государства, и тем самым отвечай на все вопросы современных перепетий общественного движения. Но «мистическая сущность гражданского общества», и сегодня не прекращает упражняться в метаморфозах. Закупорив все поры общественных отношений, оно оставляет обществу лишь право дышать чадом собственных испражнений. И это в первую очередь должно быть замечено писателями, актёрами, поэтами, то есть средой хранящей, так или иначе, общественную совесть. И нужно признать, что и совесть есть, и среда, сберегающая её, тоже есть. Не могло не быть, ибо чудовищно напрасны были бы жертвы народа в предыдущие времена.
      Но так случается, что то много приобретённое народом почему-то становится достоянием отдельных личностей, на худой конец отдельных кланов, которые «темнеют» с годами, а драка за справедливость превращается в войну «правдолюбцев» в «кровавую, жуткую бойню», но происходящую уже над народом, с его молчаливого согласия или непонимания. И, главное, самим «правдолюбцам» уже не хочется смешиваться с народом – История становится достоянием и деянием вождей и проходимцев, государственных великомучеников и стяжателей, кормчих и узурпаторов, комиссаров полиции и изворотливых уголовников. А где народ…? Словно бы уже истории самого народа уже нет.
      \*\*\*
      …Россия, может быть, является ярчайшим примером социальных движений общества от абсолюта монархического деспотизма к формам социалистической демократии. И, главное, пример этот в движении и ныне, история его вершится и сегодня. Часто возникает вопрос: могла ли общность людей, придавленная царизмом, пронизанная духом монаршим, запросто посредством революций, пусть даже самых радикальных, самых ленинских, выскочить из хламиды самодержавия и разом обрядиться в одежды самоуправления. Конечно же, нет. Слишком инертен общественный механизм, слишком велики традиции и устои. Россия обязательно должна была пройти эпоху вождизма, прежде чем общественное сознание выбросит предрассудок «хорошего царя», вынашиваемого ещё со времён централизации монаршей власти на Руси. Начало двадцатого века принесло в Россию зёрна идейного раскрепощения, занесло в общественную мысль вирус социального переустройства, но удалось ли вырвать традиционное мышление простого люда относительно единоначалия, вот здесь большой вопрос. Монотеизм в мировоззрении, монархия в политике, в экономике, в производстве, в быту – это не исчезает так просто из общественного сознания. Это традиционно живуче, может быть в большей мере благодаря этому и жив народ, какими бы консервирующими не казались эти факторы общественного состояния. Вождизм в этих условиях неотвратим. Питает надежду лишь то, что общество всё более и более уясняет мысль: «Боги приходят и уходят, а мы остаёмся…». Предрассудок в богоизбранность, в величие царей, вождей, лидеров всё более и более утрачивает силу свою в общественном сознании. По достоинству на это место должна прийти сила коллегиального мышления. По крайней мере, так должно быть с возрастанием сближения государств и народов, с уменьшением угрозы войн и экономических катаклизмов…
      Вот так сумбурно и ужасно отвлечённо заканчиваю свои плохо организованные мысли по поводу романа «Плаха» Чингиза Айтматова, прочитанного мною в мае месяце одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года…